

Раздел II

**ТИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
И ДИАЛОГ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Т. И. Подкорытова

Омск

**Две концепции крушения культуры
(«Слово о полку Игореве»
и цикл «На поле Куликовом» А. Блока)**

Формулировка проблемы, вынесенная в название статьи, заимствована у А. Блока, *концепция крушения культуры* лежит в основе его историософии, наиболее обстоятельно изложенной в послеоктябрьских статьях «Катилина» (1918) и «Крушение гуманизма» (1919). В самом общем виде мысль Блока сводится к тому, что современная Европа завершает тот цикл своей истории, началом которого была эпоха Ренессанса; историческим концом гуманизма стало превращение живого бытия культуры в мертвую зону цивилизации, чему причиной — «духовное изнеможение», «вырождение» главной творческой силы гуманизма — индивидуалистической личности.

Но поздняя публицистика Блока — это отрефлектированный рационалистический итог ранних поэтических откровений, среди которых особое место занимает цикл «На поле Куликовом» (1908). Осмысление общеевропейской истории началось с выяснения истоков истории России: «Я должен восходить к истокам той реки, к бурному устью которой я пришел со стороны», — писал Блок в период создания цикла («Стихия и культура», 1908) [2, т. 5, с. 353]. Пять его стихотворений насыщены реминисценциями древнерусских текстов — московских памятников Куликовского цикла и «Слова о полку Игореве», эта генетическая связь отмечалась и блоковедами, и медиевистами прежде всего на уровне метафорики и системы мотивов [4; 7, с. 22–32; 10, с. 73–93]. Но особое влияние древнего киевского памятника обнаруживается и в самом характере лирической интонации (трагическая взволнованность, печаль «куликовских» стихов Блока более

соответствуют вещему вдохновению Автора «Слова о полку Игореве», нежели деловитому тону московских памятников), и в сходном поэтическом видении истории как ритмической смены культурных циклов, их угасаний и возрождений.

Оба текста, древний и новейший, связаны между собой своим провиденциальным пафосом, они выявляют одну и ту же опасную склонность русской истории — все время выходить к крайней точке, к самой предельной границе, за которой культуру ожидает крушение; оба текста свидетельствуют о своем «пограничном» времени как «безвременье», вызванном истощенностью культуротворческих сил Руси-России.

Понятие «безвременья» принадлежит Блоку (у него есть статья с таким названием), Автор «Слова о полку Игореве» сходный смысл передает с помощью метафоры «изнаночного времени». Остановимся на ней подробнее.

Эта метафора из ключевой фразы «злата слова» Святослава является, на наш взгляд, концептуальным центром поэмы: «Нъ се зло — княже ми не пособие; *на ниче ся години обратиша*» [22, с. 380]¹. Переводы этого места разнообразны и в основном рационализированы, метафора в них заменена понятием². Буквальный ее смысл, подтверждаемый однокоренными словами славянских языков, — «наизнанку (на оборотную сторону, вниз лицом) годы обратились»³. Сохранен древний облик метафоры в его собственном виде в переводах Н. А. Мещерского: «наизнанку времена обернулись» и А. Чернова: «наизнанку времена вывернуты» [23, с. 41, 243]. Рационализированные переводы затушевывают стилевую специфику «Слова», модернизируют его стиль. На древний текст смотрят сквозь призму позднейших поэтик, сложившихся тропов и риторических фигур, уже забывших о своем мифологическом происхождении. Между тем «Слово о полку Игореве» — это феномен первозданной поэзии, он может обнаружить свою новизну лишь в свете тех закономерностей, которые характерны для стадии поэтического генезиса. Иначе говоря, точка зрения на поэтику «Слова» должна быть перенесена из будущего в прошлое, то есть во время, предшествующее этому памятнику, — в область мифопоэтики.

Языкотворческая инициатива Автора «Слова» как поэта заключалась в преобразовании мифопоэтической образности в метафорическую, безусловно, не без помощи книжной традиции (подробнее об этой специфике стиля «Слова» см. в наших статьях: [16–18]). Его поэтический образ — это первичная метафора,

¹ Далее текст «Слова» цит. по данному изд. ПЛДР. Курсив в цитатах наш.

² Переводы: «время все переиначило» (1-е изд.); «времена обратились на низкое» (В. А. Жуковский); «времена тяжелые настали» (Ап. Майков); «другое время» (К. Бальмонт); «время, что ли, двинулось назад?» (Н. А. Заболоцкий); «в ничто время давешнее оборотилось» (А. Степанов); «бедой времена обернулись» (И. Шкляревский) [см.: 23]; в академическом издании: «худо времена обернулись» (Д. С. Лихачев) [см.: 21]; «вспять времена повернули» (О. В. Творогов) [см.: 22].

³ Однокоренные слова, связанные семой изнанки: ничком, навзничь, ника (тыл, испод, выворотная сторона), укр. ниць, белор. ніц — обратная сторона, польск. піс, піса — обратная сторона ткани.

только что вышедшая из мифа. Как показали наблюдения О. М. Фрейденберг над стадией генезиса древнегреческой поэзии, перворожденная метафора представляет собой тот же старый мифологический образ, который на новой поэтической стадии выступает в функции «иног сказывания» самого себя; метафора — первая форма понятия, но понятийная отвлеченность ранней метафоры — не полная, в ней еще явственно ощутима не до конца снятая конкретность и одушевленность образа-мифа [28, с. 242–243]. Точно так же в «Слове о полку Игореве» связь с языком мифа еще настолько сильна, что подчас авторские метафоры понятийным сознанием вообще не прочитываются, воспринимаются «темным местом». Так, в частности, обстояло дело и с метафорикой времени, в том числе с метафорой «изнаночного времени». Но что она, в самом деле, означает?

С метафорой «изнанки времен» связаны в «Слове» еще два места, восходящие, очевидно, к одному мифологическому представлению.

Первое выражение — из обращения к Бояну в Большом зачине: «О Бояне, соловию старого времени! А бы ты сия плъкы ущекоталь, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, *свивая славы оба пола сего времени*, рища въ тропу Трояню чресь поля на горы!» [22, с. 372].

Переводы выделенного места также разнообразны, наиболее точный, на наш взгляд, дан Л. А. Булаховским: «оба пола» — «с обеих сторон» [20, с. 127], но буквально это выражение означает: «свивая (сшивая) славы той и другой полы сего времени», то есть в данном случае время уподобляется *свите* — верхней одежде⁴.

Какие две «полы» мыслило мифологическое сознание у времени-свиты, это помогает уточнить еще одна фраза, запечатлевшая след древнего представления о времени: «Мужаемъся сами: *переднюю* славу сами похитимъ, а *заднюю* си сами подълмимъ» [22, с. 380]. В эпоху «Слова» этими определениями обозначали время: *переднее* — то, что стоит впереди временного ряда, то есть прошлое; *заднее* — то, что стоит в конце, то есть настоящее [см. об этом: 11, с. 199–205; 12]. Но оба определения, совершенно очевидно, являются *пространственными* характеристиками. Эта метафора, как и предыдущая, вышла из мифа, в системе которого время воспринималось пространственно: Мир и Год — одно и то же. Нетрудно увидеть связь этих определений с метафорой «изнаночного» времени: *переднее* в языке может выступать в значении «лицевое» (о синонимии переда, лица, начала см.: [3, т. 3, с. 49]), *заднее*, соответственно, соотносится с семантикой «конца» и «изнанки».

Как отмечал М. Элиаде, изношенность — архетипический образ времени (человек «в раю» не случайно «нагой», райская «нагота» знаменует пребывание вне времени) [29, с. 86]. «Изношенность» одежд космоса-времени демонстрируется, к примеру, в обрядах календарного цикла, где акт смерти-обновления (то есть переход от конца цикла к началу нового) обыгрывается как переодевание:

⁴ Соотнесение понятия «витья» с нитью, тканью и одеждой см.: [19, с. 351].

мир-год старится, изнашивается, разрывается, после чего облекается в новую одежду, знаменуя новое свое рождение.

Вариантом того же концепта является переворачивание одежды с «лица» на «изнанку», что тоже широко использовалось в обрядовой практике и также означало смерть времени-космоса, возвращение в «*испод*», вниз, на нижнюю сторону (ср. слово «*преисподняя*»), то есть в исходную, предшествующую космогенезу стадию хаоса — в «безвремя»⁵.

С привлечением контекста мифа центральная метафора поэмы «*наниче ся години обратиша*» уточняет свою семантику: она имеет в виду не просто «иные», «худые», «тяжелые» времена и т. п., она указывает на *конец* исторического цикла.

Напомним еще раз, что слова о переворачивании времени наизнанку произносит великий киевский князь, и эта фраза может служить кратким резюме его сна, в котором он видит собственную смерть. Здесь важно иметь в виду, что это сон главы государства, он должен напомнить нам о вещих снах государственных лиц, рассказы о которых есть и в Библии, и в византийской литературе (в «Александрии», «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хронике» Георгия Амартола и др.) [11, с. 229–234]. Вещие сны являются, как правило, в момент, решающий судьбу государства, как, например, сон основателя Византии Константина о победе над Максенцием. Учитывая провиденциальную природу таких видений, можно прочитать сон великого киевского князя о собственной смерти как предчувствие поражения Киева, как знамение крушения государства.

Вместе с тем метафора «*наниче ся години обратиша*» подводит итог общей картине Русской земли, представленной в «Слове» как пространство смерти, в этой картине все знаки перевернуты с «лицевой» стороны на «изнаночную», на низ: тьма покрыла свет, море поглотило солнце, дерево с тугою к земле преклонилось, веселие пониче, хула пала на хвалу, а нужда на волю и т. д.

В довершение к сказанному, отметим еще одну особенность поэтики «Слова», отсылающую к стадии генезиса поэзии. В тексте об одном и том же рассказывается двояким способом — посредством образа и нарратива, причем по принципу их соположения. Иначе говоря, стиль «Слова» являет собой параллелизм поэзии и прозы. Повествовательные фрагменты здесь — своего рода понятные дубликаты мифа, ответ на его образную загадку.

Этот параллелизм помогают заметить выводы О. М. Фрейденберг о генезисе наррации (ее термин). Вкратце суть их такова: поэзия и проза, отмечает Фрейденберг, вышли из архаического двуединства пения-речи, отсюда первоначальная двуприродность античного способа повествования: об одном и том же рассказывается двояко: посредством образа и посредством отвлеченного понятия, причем наиболее древняя форма повествовательной конструкции — это рядоположение

⁵ Переодевание, вывернутая наизнанку одежда присутствует в самых разных обрядах, фиксирующих смену циклов: в святочных, свадебных, погребальных, в ритуалах почитания умерших предков — любой переход в новый статус будет прохождением через «изнанку» или смерть (см., напр.: [6, с. 168, 255; 26; 13, с. 234–235]).

показа-картины и рассказа, другими словами, двучлен образа и наррации. Наррация, таким образом, — своего рода озвученная картина, отвлеченное дается посредством конкретного [28, с. 271–273].

Подобный же прием М. И. Стеблин-Каменский отмечал в скандинавских сагах. В прозаическое повествование саг внедрены висы — стихотворные строфы. Независимо от О. М. Фрейденберг М. И. Стеблин-Каменский делает тот же вывод: различие между скальдическими висами и прозой в сагах только формальное, часто в стихах «сообщается то же самое, что и в сопровождающей их прозе, и это может объясняться тем, что они были *источником этой прозы*» [25, с. 64] (курсив наш. — Т. П.).

Добавим к этому, что «Слово о полку Игореве» дает возможность увидеть, что именно сопутствующий образной картине нарратив и придает мифопоэтическому образу статус иносказания или, другими словами, является его реалистической расшифровкой, без параллельного нарративного пояснения образ оказался бы семантически закрытым («темным местом»).

Один из примеров такого двойного языка в «Слове о полку Игореве» — параллелизм мифологического образа «изнаночного времени» и его конкретно-исторической, современной расшифровки. В качестве нарративного дубликата «изнанки времен» выступает реальность междоусобных княжеских раздоров и половецких набегов, причем они уравниваются между собой. Приведем два примера такого уравнивания: «Усобица княземъ на поганые погыбе, рекоста бо братъ брату: “Се мое, а то мое же”. И начыша князи про малое “се великое” мльвити, а сами на себе крамолу ковати, а погании съ всехъ странъ прихождаху съ победами на землю Рускую»; «А князи сами на себя крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуше на Рускую землю, емляху дань по беле со двора» [22, с. 378].

Внутренние княжеские распри и внешние набеги половцев поставлены в одну логическую связь. Однако логика здесь вовсе не причинно-следственная, а отождествляющая: княжеские распри — не причина набегов, а то же самое, что и половецкий разбой. В том и другом случае нарратив строится в соответствии с отождествляющим синтаксисом мифа, по принципу нанизывания однородных конструкций: «А князи сами на себя крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуше на Рускую землю, емляху дань по беле со двора».

В буквальном смысле эти фразы должны означать подчиненное положение Руси по отношению к половцам, что является фактической неправдой, ни один русский город не был данником половцев, их обычные действия — неожиданные набеги, пожоги, опустошение земель и полон. Нагнетаемый мотив «половецких побед» — художественный вымысел, но искажение фактов в данном случае не только не противоречит, но, напротив, способствует точности смысла. Иначе говоря, «половецкими победами» на полном основании могут быть названы княжеские усобицы: во времена «Слова» половцы проникали вглубь государства, как правило, в составе междоусобных ратей самих русских князей, которые применяли те же «половецкие» приемы войны (набеги), и не только в походах на чужие земли (образная картина такого набега дана в «Слове» в эпизоде захвата Игорем

половецких веж: «потопташа поганяя плѣкы половецкыя, и рассушья стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвки половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгые оксамиты» [22, с. 380]), но и во время усовиц по отношению к своим соотечественникам [9, с. 281–282; 14, с. 42–43, 97–98, 106–109].

Но есть в тексте еще одно любопытное соотношение. Кажущееся странным утверждение — «а погании сами, победами нарицуще на Рускую землю, *емляху дань по беле со двора*» — ассоциативно сближает эпоху усовиц с временами дохристианскими, действия половцев — с действиями первых русских князей-язычников, «примучивающих» данью местные племена; делается это с помощью прямой отсылки к нарративу летописи, ср.: «Поча Олегъ воевати деревляны, и примучивъ а, *имаше на них дань по черне куне*» (ПВЛ, под 883 г.) [15, с. 38].

В целом цепь всех этих отождествлений (князя-христиане = половцы = князя-язычники) вносит в метафору «изнанки времен» конкретный исторический смысл: Автор оценивает ситуацию своего времени как возвращение в дохристианское прошлое, в эпоху обособленного племенного существования, как выход из христианского бытия в *истории* назад — в языческую сферу *природных стихий*. Русь христианская — не альтернатива кочевой Степи, незрелый христианский разум оказался не в состоянии противостоять развязанной стихии диких страстей. «*Наниче ся години обратиша*» — наизнанку, в первоначальный хаос рассеянного существования, на стадию догосударственной предыстории, откуда путь на горы Киевские нужно будет начинать сначала. Так осмыслен Автором «Слова» конец того цикла христианского культуротворчества на Руси, который обозначен в поэме-повести по принципу летописи — «от» и «до»: «оть стараго Владимира до нынѣшняго Игоря». Однако, заметим, в «Слове» вовсе нет апокалиптических намеков на «последние времена» (на конец истории), как иногда думают⁶, оно завершается «веселием» по поводу «освобождения из плена», и князь Игорь начинает свой «новый путь» возвращением в Киев (государственный центр) и обращением к Богородице-Путеводительнице (о возможности соотношения упоминаемой в «Слове» Богородицы Пирогощей, к которой Автор отправляет своего героя, с иконографическим типом Одигитрии-Путеводительницы см.: [11, с. 222]). Финальный провиденциальный тон «Слова» позднее подхватит автор «Задонщины», начиная свое повествование о новом рождении русской государственно-сти с радостного пафоса реванша: «Возвѣселим Рускую землю...» [5, с. 96].

Но вернемся к циклу А. Блока «На поле Куликовом». Он возник не как случайная прихоть поэта, тема эта, как известно, составляет целый этап в его творчестве, отражена в разных жанрах (статья «Народ и интеллигенция», драма «Песня судьбы» и цикл стихов) и, более того, является одной из фундаментальных тем в символистской историософии в целом [7, с. 32–41]. Блок, как никто другой из русских лириков, был поэтом прежде всего *времени*, угадывая его глубинный

⁶ О толковании метафоры «изнаночных времен» как «последних времен» антихриста [см.: 8; 24].

смысл, скрытый в недрах событий и в суете повседневности, к нему в полной мере можно отнести известные слова Пушкина: «История принадлежит поэту».

Актуальность темы, казалось бы чрезвычайно далекой от проблем современности, заключалась для Блока не в том, что он мыслил Куликовскую битву прямым «прообразом» современной ситуации, как полагают авторы авторитетной статьи о цикле [10, с. 73], а в том, что свою эпоху он считал замыканием того витка русской истории, начало которого открывала Куликовская битва. В примечании к публикации цикла в первом издании своей трилогии Блок писал: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение» [2, т. 3, с. 587]. Повторение *такого* «символического события» он ожидал в свое время (добавим, что это совсем не означает тождества разных эпох). Однако точкой отсчета в его цикле является не Куликовская битва, а эпоха «Слова о полку Игореве».

Цикл Блока составлен из пяти стихотворений, и если внимательно присмотреться к их датировкам, то можно заметить, что развитие замысла осуществлялось в два приема: сначала в июне 1908 г. возникли три первых стихотворения, затем в течение полугода к ним было добавлено еще два. Первые три стихотворения, в сущности, вполне законченная триада, она посвящена прошлой Куликовской битве, которая изображена как перелом в истории, как освобождение «пленного» духа для нового культуротворческого движения. Последние два стихотворения вводят тему современности: два — знак того, что новый поворот истории еще впереди; третий элемент, который дополнил бы триаду и стал означением свершения, — это, по существу, поэма «Двенадцать», неслучайно она в финале имеет точно такой же образ, что и третье стихотворение цикла «На поле Куликовом»: ср. «Был в щите Твой лик нерукотворный, / Светел навсегда» и «В белом венчике из роз, / Впереди Иисус Христос» (женский Лик в первом случае, «женственный призрак», по выражению Блока, — во втором [2, т. 7, с. 330]).

Первая триада стихотворений выстроена как своего рода хронологическое продолжение «Слова о полку Игореве». Автор «Слова» охватил исторический цикл — «от старого Владимира до нынешнего Игоря», закончившийся срывом в доначальный хаос, к исходной догосударственной границе истории, Блок в первых трех стихотворениях рисует дальнейший путь: от степного плена — до Куликова поля.

Влияние «Слова» угадывается в скрещении двух мотивов — безбрежной тоски и безудержной разнузданности, образующих амбивалентный образ Руси в ее крайних свойствах. Со «Словом» же, как можно заметить, соотнесена переделка чернового варианта строки «Но как стрела — татарской древней воли — / Мой правый путь» [2, т. 3, с. 588], на окончательный вариант «Наш путь — стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь» [2, т. 3, с. 249], последний подразумевает поражение перед Степью, плененность степной стихией, ставшей частью русской души («наш путь степной»). И в целом обрисованная в первом стихотворении ситуация отвечает той картине русской жизни, что воспроизведена в «Слове», Блок передает ту же неукротимую динамику

распада сходным комплексом образов: «Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль... / И нет конца! Мелькают версты, кручи... / Останови! / Идут, идут испуганные тучи, / Закат в крови!».

Возглас «Останови!» — это, в сущности, голос Автора «Слова о полку Игореве». По Блоку, такой границей, останавливающей развязанную стихию, становится в истории Куликовская битва. Второе стихотворение цикла, рисующее ночь перед битвой, начато строкой «Мы, сам-друг, над степью в полночь *стали*». Эта «остановка» — альтернатива несущейся вскачь «степной кобылице». Символический смысл Куликовской битвы, останавливающей неудержимость распада, заключен в *готовности к жертве* — «За святое дело мертвым лечь»; неслучайно картины самого сражения в цикле нет (христианская готовность к жертве — альтернатива языческой стихии страстей, поведение — обратное по отношению к «обиде-раздору» князей в «Слове о полку Игореве»).

Последние два стихотворения блоковского цикла рисуют ситуацию *накануне* новой, повторной Куликовской битвы, с которой Блок соотносил свою эпоху нарастающих мятежей и революций. Но смысл грядущей Куликовской битвы оказывается у Блока зеркально перевернутым. Новое повторение «символического события» ожидается в атмосфере «безвременья», и это понятие у Блока подразумевает ситуацию оцепенения, бездействия, невозмутимой тишины сна и т. п. В статье «Безвременье» (1906) в качестве аналогий этому понятию выступают такие метафоры, как «необъятная серая паучиха скуки», «тишина пошлости», «злая тишина», «остановившиеся глаза», «самое время остановилось» и т. п. [2, т. 5, с. 67–70]. В цикле «На поле Куликовом» присутствуют сходные мотивы неподвижности и «тишины», но окрашены они не сатирически, а трагически: «Опять с вековой тоскою / Пригнулись к земле ковыли...», «Умчались, пропали без вести / Степных кобылиц табуны...», «За тишиною непробудной, / За разливающейся мглой / Не слышно грома битвы чудной, / Не видно молнии боевой».

В связи с мотивом «тишины» приведем для сравнения одно «темное место» из «Слова о полку Игореве»: «Въстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣмъ море, у Дону; плещучи, *убуди жирня времена*». Последнее выражение (букв. «разбудила тучные времена») с точки зрения нашего понятийного мышления лишено всякой логики: каким образом могла «дева Обида» — персонификация раздора, мести, войны — «разбудить» времена изобилия (то есть, как мы сейчас это понимаем, — способствовать их явлению)? Поэтому здесь видят искажение текста и составляют конъектуру «упуди» (прогнала) [23, с. 449, 459].

Однако конъектура здесь не нужна, в «Слове» задействован мифологический образ времени, не утративший еще своей предметности и одушевленности: живое, тучное время, похожее на спящего зверя. В самом определении «жирня времена» заложен семантический отзвук сна-покоя, см. в словаре Даля: *жировать* — жить в избытке, ни в чем не нуждаться, но и — отдыхать, покоиться [3, т. 1, с. 543]. Позднее мифологический образ «спящего времени» претворился

в метафору государственной «тишины», означающую состояние мира, покоя и благоденствия; ср. у Державина («На шведский мир»):

Продлишь златые наши годы,
Продлишь всеобщий наш покой,
Бесчисленны твои народы
Воздремлют под твоей рукой.

<...>

Ты наши просвещала нравы
И украшалась тишиной.
Слеза, щедротой извлеченна,
Тебе приятней, чем вселенна,
Приобретенная войной!

Таким образом, если «тишина» или «спящее время» означают отсутствие войн и мятежей, то «разбуженное» время, как в «Слове», наоборот, будет означать состояние войны, поэтому «дева Обида» именно «убуди жирня времена».

Нельзя не заметить, что «тишина», которая в «Слове о полку Игореве» подразумевается как благословенное время покоя и обилия, у Блока обретает черты «мертвенного покоя»: «непробудная тишина» («непробудность» — знак смерти)⁷. Неподвижная эпоха «безвременья» («безмузыкальная», в историософской терминологии Блока, отсутствие «музыки» — динамического начала бытия равнозначно остановке времени) в цикле «На поле Куликовом» имеет признаки, прямо противоположные по отношению к бурной, хаотической аритмии «изнаночного времени», описанного Автором «Слова». Меняется в связи с этим смысл новой «Куликовской битвы»: он будет заключаться не в жертве, а в мятеже: «Но узнаю тебя, начало / Высоких и мятежных дней!».

Пафос мятежа в связи с темой Куликовской битвы в свое время поверг в недоумение Г. Федотова, отметившего странную неопределенность позиции поэта между двух «враждебных станов»: «Разве смерть за святое знамя — дело мятежа, хотя бы и высокого? Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. <...> Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы, которая для Блока была не поэтической фикцией, а реальным ожиданием всей жизни, в чем он будет стане, в русском или татарском?» [27, с. 151]. Неуловимая позиция Блока была отмечена и исследователями древнерусских мотивов в цикле «На поле Куликовом», например, в таких сближениях, как странная сопричастность Богородицы, центрального образа третьего стихотворения («Был в шите Твой лик нерукотворный / Светел навсегда»), и языческого существа Дива из «Слова о полку Игореве», который «кличет», предупреждая Половецкую степь о походе Игоря [10, с. 90–91], ср. в четвертом стихотворении

⁷ В статье «Стихия и культура» (1908) Блок использует выражение «аполлинический сон» культуры: «Цвет интеллигенции, цвет культуры пребывает в вечном аполлиническом сне» [2, т. 5, с. 354], что позволяет утверждать, что одним из первых источников его историософии была известная работа Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».

обращение к той, что обозначена заглавным «Ты»: «Ты кличешь меня издали...» и «Явись, мое дивное диво! / Быть светлым меня научи!». Сходное противоречие — в образе всадника на белом коне, с одной стороны, вызывающего ассоциацию со св. Георгием [10, с. 93], но одновременно отрицающего эту аналогию с помощью глагола «рыщу», совсем не подходящего для «белого коня» св. Георгия: «Объятый тоскою могучей / Я *рыщу* на белом коне» (глагол «рыщу» снова заставляет вспомнить «Слово о полку Игореве», где такого рода действие соотносится с «волком» и характеризует одного из зачинателя усобиц Всеслава Полоцкого: «самъ въ ночь вълкомъ *рыскаше*» и т. п. [22, с. 382]).

В этой неуловимости, неоднозначности заключена вся суть трагико-диалектического мышления Блока. Для такого мышления не существует раз и навсегда заданных священных абсолютов, последних истин и т. п., всякий раз «истину» бытия человеческого диктует время.

На уровне историософии цикла «На поле Куликовом» эта диалектика может быть пояснена следующим образом: в пространстве истории действуют противонаправленные силы — движения (становления, изменения, разрушения и т. п.) и покоя (устроения, порядка, стабильности и т. п.), — по Блоку, силы «стихий» и «культуры». Живая жизнь культуры — в сцеплении, натяжении этих сил. На линии исторического бытия есть крайние точки, за которыми культуру ожидает крушение — в двух вариантах: как неудержимая развязанной стихии, распада («изнаночное время» в «Слове о полку Игореве») и как окаменение «вечного покоя», стагнация, мертвый сон цивилизации («безвременье» в цикле Блока). Русская история всегда оказывается на какой-либо из этих опасных граней.

Эти два момента крайнего приближения к катастрофе в цикле «На поле Куликовом» выражены отчетливой оппозиционностью мотивов первого и последнего стихотворений, передающих атмосферу накануне битвы (прошлой и будущей):

- в первом стихотворении: «И вечный бой! <...> / Летит, летит степная кобылица <...> // И нет конца! Мелькают версты, кручи... <...> / Закат в крови!»; в пятом: «За тишиною непробудной <...> / Не слышно грома битвы чудной, / Не видно молнии боевой»;
- в первом: «Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль...»; в пятом: «Не может сердце жить покоем / Недаром тучи собрались...»;
- в первом: «И нет конца! <...> / Останови!», в пятом: «Но узнаю тебя, начало / Высоких и мятежных дней!».

В контексте этих противопоставлений становится понятной перефразировка заключительной строки последнего стихотворения, на первый взгляд, не значительная, но на самом деле существенная. Первый вариант (сб. «Ночные часы», 1911 [1, с. 238]):

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Твой час настал. Теперь — молись! —

и окончательный вариант (третье издание трилогии, 1921 [2, т. 3, с. 253]):

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

Перестройка синтаксиса последней строки способствует большей акцентуации слова *твой*. Все выражение в этом варианте «Теперь *твой* час настал» подразумевает нечто вроде ситуации реванша, смену торжествующей стороны: был ранее победный *час* жертвы святого воинства Руси христианской, теперь — «*твой* час» настал, степная стихия мятежа. Причем, слово «молись» заставляет думать о высшей предопределенности мятежной стихии, миссия которой — сменить мертвые формы цивилизации, удушающей живую жизнь, ср. у Пушкина в «Медном всаднике»: «С божией стихией / Царям не совладеть».

Таким образом, смену исторических циклов, необходимую для спасения культуры от крушения-смерти, у Блока осуществляют разные культуротворческие силы — умиротворяющая стихия жертвенности и стимулирующая стихию мятежности. Их историческая правота — не абсолютна, каждая из этих сил права в свое время («Время собирать камни, и время разбрасывать камни», как говорит Екклезиаст).

Итак, исторически актуальным и потому ценным для Блока становится взрыв стихии, то есть то, что в глазах Автора «Слова» является гибельным для Руси. Это не означает, что один прав, а другой — нет; как проницательно угадал Блок, «правда» истории — не одна и та же в разные времена.

Литература

1. Блок А. Лирика. Театр. М., 1981 [публикация прижизненных сборников].
2. Блок А. А. Полн. собр. соч. : в 8 т. М., 1960–1963.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. СПб., 1996.
4. Евреинова Н. Н. Цикл стихов А. Блока «На поле Куликовом» и его источники в древнерусской литературе // Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. С. 151–172.
5. Задонщина // Памятники литературы Древней Руси. XIV — сер. XV века. М., 1981.
6. Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. М., 1994.
7. Ильев С. П. Куликовская битва как «символическое событие» (цикл «На поле Куликовом» Блока и роман «Петербург» Андрея Белого) // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 22–41.
8. Клейн Й. «Слово о полку Игореве» и апокалиптическая литература // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 31 : «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы. Л., 1976. С. 104–115.
9. Ключевский В. О. Собр. соч. : в 9 т. Т. 1. М., 1987.
10. Левинтон Г. А., Смирнов И. П. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 34. Л., 1979. С. 72–95.
11. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978.
12. Лотман Ю. М. «Звонячи в прадѣдную славу» // Лотман Ю. М. Избр. статьи : в 3 т. Т. 3. Таллин, 1993. С. 107–110.

13. Неклюдов С. Ю. Оборотничество // Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. Т. 2. М., 1992.
14. Плетнева С. А. Половцы. М., 1990.
15. Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978.
16. Подкорытова Т. И. Стилевая реализация авторства в «Слове о полку Игореве» // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. Минск, 2007. С. 165–172.
17. Подкорытова Т. И. Три варианта отрицательного параллелизма в «Слове о полку Игореве» с точки зрения исторической поэтики // Александр Веселовский. Актуальные аспекты наследия : Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 110–132.
18. Подкорытова Т. И. Художественный образ на выходе из мифа: к интерпретации лебединой девы Обиды в «Слове о полку Игореве» // Текст — Комментарий — Интерпретации : межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 2008. С. 14–24.
19. Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989.
20. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» : в 6 вып. / сост. В. Л. Виноградова. Вып. 4. Л., 1974.
21. Слово о полку Игореве / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. ; Л., 1950.
22. Слово о полку Игореве [в редакторском варианте О. В. Творогова] // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 372–387.
23. Слово о полку Игореве. Л., 1985.
24. Ставиский В. И. Мировоззрение автора «Слова о полку Игореве» и культура его времени // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 43. Л., 1990. С. 131–138.
25. Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
26. Толстой Н. И. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 119–128.
27. Федотов Г. П. На поле Куликовом // Федотов Г. П. Лицо России : сб. ст. 1918–1931. Paris, 1967.
28. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
29. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.

Е. К. Созина

Екатеринбург

Произведения авторского эпоса в литературе народов Уральского региона

В исследовании удмуртских филологов В. М. Ванюшева и И. Ф. Тимирязевой говорится о трех волнах эпоса, точнее, эпосотворчества, через которые прошли финно-угорские народы [4]. Это середина XIX в., когда была создана «Калевала» Э. Лённрота; начало XX в. — время создания К. Жаковым поэмы «Биармия» и начало работы К. Герда и М. Худякова над собиранием удмуртского национального эпоса; наконец, рубеж XX–XXI вв., когда пишутся мордовский